

**Стенограмма дискуссии в рамках секции
«Корейский политический миф: версии Севера и Юга»
на XIII Конвенте РАМИ в МГИМО**

14 октября 2021 г. в рамках XIII Конвента РАМИ в МГИМО журнал «Россия в глобальной политике» провел секцию «Корейский политический миф: версии Севера и Юга».

Само представление о политическом мифе невероятно мифологизировано. Между тем, эта «система знаков, претендующая на перерастание в систему фактов» играет важную роль в развитии современной корейской нации, в межкорейских отношениях, во многом определяя особенности политического режима в обоих корейских государствах и особенности их международного поведения.

Ведущие отечественные эксперты в формате круглого стола участники обсудили особенности генезиса и развития политического мифа на Севере и Юге Кореи, главные нарративы и ритуалы, механизмы политики памяти и пропаганды.

В работе секции принимали участие:

- **Андрей Николаевич Ланьков**, университет Кунмин, Сеул, Корея.
- **Константин Валерианович Асмолов**, ИДВ РАН, Москва.
- **Наталья Николаевна Ким**, Институт востоковедения РАН, Москва.
- **Илья Владимирович Дьячков**, МГИМО, Москва.
- **Вадим Сергеевич Акуленко**, Дальневосточный федеральный университет, соавтор телеграм-канала «Неконфуцианская Корея», Владивосток.
- **Артем Евгеньевич Опарин**, соавтор телеграм-канала «Неконфуцианская Корея», Владивосток.
- **Даниил Шкатов**, ИДВ РАН, Москва.

Модератор:

- **Александр Соловьёв**, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».

А. Соловьёв: Я очень доволен, что удалось всех вас собрать, для меня это большая честь и большая радость. Давайте сначала договоримся о терминах – что такое политический миф. Известно, что о любом мифе, включая политический, можно говорить в трех планах. В синтаксическом плане миф представляет собой нарратив или (отдавая дань уважения Лиотару) метанарратив, сопровождающий нацистроительство и отвечающий на вопросы «кто мы», «откуда мы» и «куда мы идем». В классической книге Генри Тюдора Political Myth, вышедшей почти полвека назад, политический миф определяется как драматический нарратив, излагающий политическую историю народа и предназначенный для формирования у целевой аудитории определенного мировоззрения.

Ролан Барт дал мифу прекрасное семиотическое определение – это «система знаков, претендующая на перерастание в систему фактов». А в философской энциклопедии 2001 года я нашел такое определение: «Политический миф – это превращенная форма политического сознания, в котором знание и понимание фактов политики замещается образами, символами, вымыслами, легендами и верой в миф». Оно, конечно, отдает духом высшей партшколы советских времен – дескать, есть правильное, объективное понимание фактов, а есть то, что это правильное понимание замещает и вытесняет. Но в этом определении важно обращение к действию, к эмпирике.

К этому аспекту обращается и автор совсем недавно вышедшей книги *A Philosophy of Political Myth* Кьяра Ботиччи. Она подчеркивает важность работы над общим нарративом, работы, посредством которой члены социальной группы или общества в целом придают значимость своему опыту и своим действиям.

Разумеется, Ботиччи не рассматривает миф как «превращенное» сознание, но я привел это определение как пример того, насколько противоречиво и многогранно это понятие – политический миф.

Для нас очень важно, что этот миф – это нарратив, используемый для отправления власти, идеальной власти, которая формирует картину идеального общества, идеального общественного порядка, идеальных отношений между распределительной, мобилизующей функцией государства, и, собственно, народом. Есть только вопрос о том, кто, собственно, миф формирует, кто его поддерживает, как это все происходит.

Что-то еще мы можем добавить к этим толкованиям политического мифа?

К. Асмолов: Я бы добавил довольно важный тезис, что на Дальнем Востоке история всегда воспринималась «по Покровскому», как «политика, опрокинутая в прошлое» и поиск правильных прецедентов. И именно поэтому для Кореи изучение истории создания политических мифов и политических нарративов крайне важно. Во-первых, с учетом политической конъюнктуры часто хорошо видно, как и для чего они делаются. А, с другой, «борьба за то, чья очередь переписывать историю», интересна сама по себе: то либералы, то консерваторы клеймят искажителей и очернителей и пытаются вывести в мейнстрим свой вариант мифа, добиваясь его легитимации. В этом смысле можно вспомнить и то, как при Пак Кынхе «прогрессивная общественность» боролась против единого учебника истории, и бурю, которую вызвал выход книги «Пещерный антияпонизм» от группы ученых из института Наксондэ кёнчже ёнгусо.

А. Соловьёв: Это правда. Политический миф всегда направлен на настоящее, на то, что происходит здесь и сейчас, ибо это вопрос о власти, о том, кто и каким образом управляет. Верно ли считать, что главная черта политического мифа на Дальнем Востоке – это обязательная легитимация настоящего через прошлое?

И. Дьячков: Легитимация – не единственная его функция. Строительство идеологии направлено не только на легитимацию настоящего, но и выстраивание определенного будущего, как Константин Валерианович сказал, через поиск прецедента. Поскольку для большинства культур – конфуцианских, и не только – строительство будущего с нуля невозможно. Можно лишь воспроизводить старый прекрасный образец.

Н. Ким: Когда мы говорим о том, что какие-то политические силы в процессе легитимации власти, отправления этой власти, ее утверждения, «конструируют» прошлое, то это не означает автоматически, что они выдумывают небылицы о прошлом. А наша задача,

рассуждая о политическом мифе в Республике Корея, в КНДР, не придумать свой собственный миф.

А. Соловьёв: Это, наверное, и есть самая страшная ловушка, когда ученый, интерпретируя текст, явление, процесс, создает свою систему знаков, куда вписывает уже по своему велению изучаемый объект. Но давайте мы перейдем от соображений общего порядка уже к нашим корейским реалиям. Давайте попробуем поговорить о корейском политическом мифе. Он принципиально разный на Юге и на Севере – или можно искать какой-то единый, общий миф? «Протомиф», «первомиф» – нечто вроде «основного мифа», который около полувека назад предложили В.Н. Топоров и В.В. Иванов?

И. Дьячков: Единого мифа не будет. Разве что в хронологическом плане, но развивались мифы Севера и Юга асинхронно.

К. Асмолов: Но если мы найдем, выделим какие-то принципиальные сходства, это будет очень полезно. Различия же просто на поверхности лежат.

Однако некоторые общие черты мифов, характерные для многих – если не для любых – народов вполне можно проследить. Миф про нашу изначальную древность, миф про великое испытание, которое мы с честью преодолели и так далее. Кэмпбелл и Пропп нам в помощь!

С другой стороны, можно попытаться назвать и «эсклюзивно» корейские черты политического мифа. Первое, что приходит в голову – это то, что один наш неполиткорректный коллега в свое время назвал мелкодержавным шовинизмом. Я бы сказал, что это такой тяжелый синдром неодоленной победы, когда и Север, и Юг получили независимость из чужих рук, а представители национально-освободительного движения прямого отношения к победе над японцами не имели.

Победа по умолчанию предполагает, что мы прошли тяжелую битву, и не просто даже победили врагов, а уничтожили всю вражескую инфраструктуру и наказали всех негодяев и пособников. В Южной Корее даже с последним были проблемы, отчего нация получила ...

Н. Ким: Неизжитую, неотрефлектированную историческую травму.

А. Ланьков: Сложно что-то к уже сказанному добавить, но я бы отметил два аспекта, два пласта. Первый – это традиционное конфуцианское представление о том, что легитимация существующих политических и общественных институтов должна осуществляться через историю, и что для всего нужно искать исторические прецеденты. Но на это наложился европейский (конкретнее – немецкий) национализм позднего модерна, конца XIX-го начала XX-го века, который попадал в Корею через Японию.

Отсюда всякие мифы о расовой чистоте, представленные в обеих Кореех (при том, что и там, и там отношение к идее расовой чистоты все же амбивалентное). Отсюда – частично – и мифы об исключительной древности корейской государственности.

К сказанному Константином Валериановичем об универсальных мифологемах можно добавить разве что идею исключительности: мы удивительно творческий народ, невероятно отзывчивый, безгранично широкий, и весь мир нами восхищается; ни у кого не получается так круто, как у нас, поэтому, собственно, нами и восхищаются.

Иными словами, мы имеем своеобразный «мифологический синкретизм», конвергенцию мифов, часть из которых восходит еще к конфуцианской истории и была слегка

модернизирована, а часть – попала в Корею из Европы позднего модерна через Японию уже в конце XIX века.

А. Опарин: Я бы еще заметил, насколько сильно политический миф Южной Кореи и насколько сильно самореализация южнокорейского общества основаны на нынешних экономических успехах. Они играют огромную роль в укоренении мифа на уровне повседневного бытования простого южнокорейца.

А. Ланьков: Действительно, буквально на наших глазах в Южной Корее происходит очень сильная переоценка роли страны в истории и в мире. Очень долго, где-то до 2015 года, бытовало такое самовосприятие: мы маленькие, мы слабые. Мы, конечно, героическая нация, но нация-жертва.

А сейчас, резко, за каких-то четыре-пять лет, до корейской публики дошло, что Южная Корея все-таки является по мировым меркам не просто богатой, а очень богатой страной. И по этому поводу возникла гордость. Те самые люди, которые еще пять-десять лет назад писали о «Hell Joseon», о том, как в Корее все плохо, несовершенно и неправильно, сейчас пишут замечательные книжки под названием «Чхувор-е сидэ» (дословно – «Эпоха обгона», эдакое «Время – вперед», если вспоминать бравурно-мобилизационную риторику советских времен) – это бестселлер 2020 года.

Речь там идет о том, как все теперь ужасно круто. И вот это представление о себе как о передовой стране, склонность гордиться не какими-то достижениями традиционной культуры, а тем, что происходит сейчас – это новое для Кореи явление. Возможно, оно уже естественное для молодежи, а для меня это как раз несколько неожиданная перестройка.

К. Асмолов: А насколько в современной Южной Корее и среди южнокорейской молодежи распространен этот самый «Hell Joseon'ский» дискурс? Социальное расслоение ведь никуда не делось. Собственно, успехи «Паразитов» и «Игры в кальмара» говорят о том, что в обществе эти процессы социального расслоения воспринимаются как серьезная угроза.

А. Опарин: Мне кажется, что желание уехать, желание встроиться в западную культуру – своего рода стремление к бегству – все же присутствует. Даже несмотря на последние экономические и культурные успехи.

А. Ланьков: Мне тоже кажется, что триумфализма не так уж и много. Изменилось что-то именно на уровне дискурса, но не на уровне реального массового восприятия. И мрачный «Hell Joseon'ский» дискурс никогда не воспринимался чересчур драматично, совсем уж буквально, и сейчас люди не воспринимают все в розовом цвете.

И. Дьячков: Мне представляется, что классический миф, о «креветке в схватке китов» (характерный и для Юга, и для Севера), – мы, дескать, маленькие, слабые – сильно мешает Корее. На Севере он существует в несколько подавленном варианте, но он объясняет некоторые действия северян, как мне кажется.

Колоссальные усилия по продвижению своего образа за рубежом – это как раз политическая деконструкция этого мифа, точнее даже его разрушение. Он же вредит и тем самым усилиям по продвижению своего имиджа – ведь если люди пытаются подавить самих себя, не слишком веря в себя и самим себе, это подрывает все усилия по самопиару.

Так что мне эти вопросы представляются очень актуальными – действительно ли происходит именно это? Насколько это глубокий тренд, и насколько можно говорить о том, что это закрепится? И нашло ли это отражение именно в политике? Мне нередко доводится

общаться с экспертами, имеющими отношение к официальному Сеулу – и по ним не заметно, что что-то поменялось.

Н. Ким: Если возвращаться к общим чертам политического мифа на Юге и на Севере, то это, пожалуй, представление о Тангуне как о реальном историческом персонаже. Второе – это однозначно негативное восприятие колониального прошлого, поэтому как в северокорейской, так и южнокорейской историографии сегодня доминирует по-прежнему так называемая теория колониальной эксплуатации, а не колониальной модернизации (она, наоборот, является маргинальным течением).

И третье, – это оценка роли национально-освободительного движения в обретении независимости. На Севере оно, конечно, абсолютизируется, но и на Юге его участие все больше превозносится. Вплоть до того, что возникает задача показать, что корейцы освободили сами себя, а потом уже как-то там подтянулись американцы, Советская армия. Трактовки, конечно, разные, но есть и общее основание политического мифа, которое действует и на Севере, и на Юге.

А. Соловьёв: К этому можно добавить мелкую, но совершенно замечательную, на мой взгляд, деталь. Договариваясь с японской колониальной администрацией о передаче власти корейцам в августе 1945 г., выдающийся деятель освободительного движения Ё Унхён заявил, что обязательным условием такой передачи должно быть самостоятельное (*чучхечжогыро*) обеспечение корейцами собственной безопасности. В следующем году он заявлял, что корейцы являются хозяевами своей страны и политическим субъектом (*чучхе*).

К. Асмолов: Не случайно Ё Унхёна равно уважают и почитают по обе стороны параллели.

А. Соловьёв: Да, тут явно общая персонификация мифа, общий мифотворец.

А. Ланьков: Важно отметить, что между северокорейским и южнокорейским мифом есть одно очень важное организационно-институциональное различие. Южная Корея – все же демократия, а Северная – жестко авторитарная идеократия, в которой исторический миф является исключительно важным аспектом легитимации существующей власти.

На практике это означает, что при всей общности мифов (перечень общих черт можно и продолжить) в Южной Корее существует несколько дискурсов. Прежде всего, это, условно, миф правых и миф левых. Предмет их расхождений – в основном оценки событий последних полутора-двух веков, но иногда их разногласия могут уходить вглубь на тысячелетия.

Кроме этого, в Южной Корее возможно существование независимых исследователей, которые стараются вообще держаться вне идеологического поля, а иногда – из чувства объективности или же из чувства противоречия – умышленно саботируют и тот, и другой миф. Напротив, в КНДР существует жесткий запрет на высказывания, которые отклоняются от официальной линии, и запрет этот поддерживается, когда в этом возникает необходимость, административно-полицейскими мерами. Поэтому в КНДР любые высказывания в духе только что упомянутой теории колониальной модернизации попросту невозможны.

В Южной Корее сторонники этой теории, конечно, маргинализированы. Им практически не дают выхода на СМИ. Практически не дают преподавать. Их, что очень важно, полностью выкинули с кафедр национальной истории. Любая относительно спокойная оценка колониального периода, любой разговор о том, что тогда наблюдался

экономической рост и шло строительство инфраструктуры, возможна лишь на кафедрах истории экономики, но не на кафедрах национальной истории.

При этом «мозговой центр» этих маргиналов – институт Наксондэ кёнчже ёнгусо, вызывающий легкую неприязнь у правых и ненависть у левых – работает вполне легально, никакой ОМОН штурмом его не берет. Люди сидят в этом институте и пишут свои узкоспециализированные монографии. То есть на Юге есть многоголосье, что – в контексте международных отношений – говорит о том, что на Юг из-за этого многоголосья влиять можно.

А на Севере существует единственная версия, признанная официально правильной. Разумеется, там существует и своя дискуссия. Но дискуссия на Севере допустима только по темам, которые не считаются политически значимыми – об истории керамики, например, спорить можно сколько угодно. Причем по некоторым пунктам северяне это делают лучше южан.

Д. Шкатов: У меня сложилось ощущение, что у северян вполне качественная академическая литература по истории – но до XX века. Двадцатый век у них никогда в академическом формате не освещался. Верно ли это?

А. Ланьков: Да, в целом это так. Но и по вопросам освещения истории до XX века существует четкое различие. По тем вопросам, которые считаются политически значимыми – например, связанным с национализмом, с национальным величием и так далее (список довольно большой) – никакой научной дискуссии быть не может, там царит идеологически выверенная наукообразность. Ключевые установки о том, что надо думать по политически важным вопросам прошлого, спускаются сверху, и сами историки, подозреваю, в выработке этих установок участия вовсе не принимают. С другой стороны, есть вопросы, по которым идет совершенно нормальная, очень толковая, свободная, реальная дискуссия.

Под политическое регулирование могут попадать иногда неожиданные вопросы. Например, в Северной Корее нельзя ставить вопросы о генетических связях корейского языка, потому что есть установка Ким Ирсена, что корейский язык никому не родственен. Он изолят абсолютный – и точка...

В принципе, северяне тоже могут пускаться во все тяжкие – я иногда пишу о невероятно экстравагантных северокорейских конструктах по истории древности; вот, например, в историческом атласе, изданном Академией Наук КНДР лет 20 назад, кусок Магаданской области был показан древнекорейской землей. В Южной Корее, конечно, тоже есть такие выдумщики, даже, может, более залихватские – и шумеров делают древними корейцами, и йогурт болгарский объявляют корейским изобретением – но они остаются сугубыми маргиналами. Крайний, забубенный национализм в Южной Корее существует, и даже пользуется влиянием, но не становится мейнстримом. Мейнстримом остается национализм, но это национализм без эксцессов, «вегетарианский национализм».

В Северной Корее то, что написано в учебнике – единственно допустимая точка зрения. В Южной же «экстремальные мифотворцы» находятся на грани или за гранью академической науки, но в общественном поле присутствуют.

Тем не менее, общие тенденции очень похожи и на Севере, и на Юге. Просто в Южной Корее есть два доминирующих мифа, конкурирующие между собой, и допустима разноголосица. А в Северной есть единственная, идеологически верная и выдержанная точка зрения.

В. Акуленко: Мне южнокорейский мейнстрим представляется более адекватным. При изучении документов у меня сложилось впечатление, что если в начале 60-х, в КНДР развитие исторической науки шло по пути рационализма, а на Юге – наоборот, то потом их дорожки сначала пересеклись, а потом разошлись в диаметрально противоположные стороны.

А. Соловьёв: Вадим Сергеевич, в вашем прекрасном анализе эволюции понятия нация (*минджок*) в северокорейской историографии, вы не нашли – вплоть до текущего времени – никаких следов отхода от примордиалистской концепции?

В. Акуленко: Не нашел. Подход северных корейцев при этом не слишком отличается от того, что мы видим на Юге, поскольку примордиализм и там, и там представлен в концепциях этногенеза. На Севере он сейчас больше склоняется к догмату почвы и крови. И, на мой взгляд, начиная с 1993-го, или чуть раньше, может быть, с 80-х годов, этот подход все более радикализируется в сторону, я бы сказал, «биологизаторства». То есть мы занимаемся тем, что находим кости, выделяем ДНК и представляем всех жителей, начиная с периода чуть ли не нижнего палеолита, древними корейцами. Вообще, переход к такой концепции начался ещё в начале 1970-х гг., но окончательно оформился в начале 1980-х гг., я это увидел по анализу словарей и исторической литературы, тех же редакций «Чосон тхонса». Считаю, что здесь вероятно влияние соседнего Китая, но пока в тему не углублялся и утверждать наверняка не могу, хотя некоторые параллели явно прослеживаются.

А. Соловьёв: Дело в том, что, работая над статьей для нашего журнала, Константин Валерианович и Василий Лебедев при деятельном участии рецензировавшего эту статью Андрея Николаевича, сделали, на мой взгляд, небольшое открытие. Они обнаружили текст 2008 года, который понятие «линии крови» возводит уже не к биологически детерминированному кровному родству, но к социально обусловленным практикам передачи навыков из поколения в поколение. Это похоже на попытку отойти, абстрагироваться от примордиализма. Попадалось ли вам что-то такое или это, возможно, единичный случай?

В. Акуленко: Я, к сожалению, не знаком с источником, о котором идет речь, но с удовольствием бы почитал, посмотрел. Я имел дело со многими статьями. Самые свежие вышли где-то в начале 2010-х годов. Самое свежее, что держал в руках - 2014 года “주체의 민족리론 연구”. Но в них никакого отхода не было. Да и учебник, допустим, «Чосон тхонса» 2009 года издания такого отхода не предлагает.

Напротив, появляются новые данные (самое интересное, что из Китая) – в контексте рассуждений о разнице палеолитических, неолитических и прочих культур – о верности биологического характера линии крови – самое интересное, что из Китая. Так что примордиализм сохраняется практически в неизменном виде, начиная с конца 90-х годов.

А. Ланьков: Я согласен. Я помню эти наши споры. И помню эту цитату, на мой взгляд, она слишком изолированная. Ее можно по-разному интерпретировать, и «отход от биологической детерминанты» – вероятно, одна из возможных интерпретаций. Но в целом я тоже не вижу отхода от «биологизма». И, главное, не вижу, зачем творцам северокорейского дискурса вообще нужно от него отходить.

Объективность мифотворцев вообще волнует мало, а в данном конкретном случае не волнует вообще. Их интересует политическая целесообразность их построений, и их пропагандистская эффективность. Их главная задача? Обеспечение единства в целях сохранения стабильности. Если хотите, сохранение государства, сохранение режима –

(выбор между терминами «государство» и «режим» в этой фразе – вопрос политических вкусов). Решение этой задачи в мононациональной стране, где вообще практически нет никаких меньшинств, за исключением полутора тысяч китайцев – как раз лучше всего и обеспечивается биологическим подходом. Зачем от этого отказываться? В поисках истины? У мифотворца другая работа, истина его не интересует. Политик ищет власть, предприниматель ищет прибыль, а истину ищет ученый, если он не подается в политики или предприниматели.

А. Соловьёв: А в южнокорейском академическом историческом нарративе тоже доминирует такая биологическая детерминанта, или же все-таки там посложнее?

А. Ланьков: Доминирует, но не монополизирует нарратив. Только что вышла сенсационная по местным меркам книга Лим Мёнмука. Это голос совсем молодого поколения – автору нет и тридцати. Показательно, что он там на пяти страницах излагает совершенно классическую, по Хобсбауму, теорию этноса.

Он пишет об ассимиляции иностранных рабочих, о том, что Корея становится политической нацией, что это очень хорошо. Есть и другие концепты, как и везде в Южной Корее: доминирующая точка зрения, скорее, биологична, хотя не настолько, как на севере, а есть альтернативные голоса.

А. Соловьёв: А как в Южной Корее – понятно, что в Северной этого быть не может вообще – обстоит дело с постколониальной теорией?

А. Ланьков: Ее почти нет. Корейский постколониализм направлен против Японии. «Традиционный» постколониализм направлен против США и главным образом против стран Европы, построивших свою экономику, технологию, отчасти даже культуру на ограблении колоний. А в Корее эти страны развитого Запада, скорее, ассоциируются с антиколониализмом и освобождением. Поэтому корейский постколониализм может быть направлен только против Японии. В том, что японцы все хорошее украли из Кореи – так в этом в Корее вообще никто не сомневается.

А. Соловьёв: Да уж – и Майтрею украли, и тигров, это любому известно. Давайте на минуту вернемся к экономике как основе для национальной гордости. Можно ли провести параллель с 60-70-ми гг. XX в., когда Север ощутимо опережал Юг экономически? Был ли тот экономический расклад тоже серьезной основой для северокорейского мифа?

К. Асмолов: Этот вопросом стоило бы адресовать Василию Лебедеву – он гораздо подробнее может рассказать. Был момент, когда северяне говорили южанам: давайте, открываемся, устраиваем информационную прозрачность, потому что там есть что показать, а вам – нет. Потом ситуация зеркально поменялась. Тут, скорее, я, может быть, обратил бы внимание на еще два вопроса.

Примечательно, что в южнокорейском историческом дискурсе, где сталкиваются подходы правых и левых, очень остро стоит вопрос о корнях экономического чуда и его цене. Российский аналог – это споры вокруг Сталина и цены, уплаченной за темпы индустриализации.

Второй момент амбивалентности – это отношение к кризису 1997-98 гг., потому что после него прежние темпы роста серьезно замедлились, но я все же серьезно не занимался «экономикой мифа» или мифологизацией экономики.

Н. Ким: Я бы добавила, что период экономического расцвета КНДР был очень коротким. Завершив восстановление экономики после окончания Корейской войны, Северная Корея

недолго – лет на 10 – по темпам роста превышает Южную Корею. Здесь важно, как северяне презентовали своё прошлое именно в эти годы, в 60-е.

Так, в журнале «Корейская женщина» где-то до 1965 года регулярно говорилось о вкладе Советского Союза в освобождение Кореи, а персона Ким Ирсена особенно не выделялась. Но с конца 60-х все чаще появляются материалы, посвященные его жене Ким Ченсук, его матери Кан Бансок, самому вождю. Таким образом, уже с конца 60-х формируется очень пафосное и, очевидно, уже мифологизированное представление об этих трех исторических персонажах.

А. Соловьёв: А это могло быть связано с темой эмансипации женщин в новом обществе? С задачей преодолеть пережитки феодального прошлого? И второе – можно ли это интерпретировать как своего рода кампанию: «Семью вождя в каждый дом!»

Н. Ким: Это было обусловлено, конечно, задачей сформировать идеологическое единообразие в стране в 60-е годы, и напрямую связано с утверждением единоначалия, единовластия Ким Ирсена.

А. Ланьков: Этот поворот очень четко датируется весной 1968 года, когда были приняты были так называемые «Майские постановления» – они до сих пор засекречены, не опубликованы. Фактически, это была доктрина восхваления вождя. Но здесь надо понимать общеполитический контекст того периода.

Во-первых, Пхеньян тогда искал место в советско-китайском конфликте. Было принято политически абсолютно разумное решение – занять нейтральную позицию и, по возможности, лавировать между Москвой и Пекином. Решение это было циничным, прагматичным и с этой точки зрения – очень правильным. Но новая нейтральная линия требовала определенного идеологического основания. Нужно было задекларировать свою идеологическую систему, которая не только не уступала бы ни советской, ни китайской, но даже превосходила бы ее.

Во-вторых, вождизм – совершенно нормальное явление для традиционных и полутрадиционных обществ. Человеку вообще свойственно любить начальство, а в таких обществах начальство любят особенно сильно. В некоторых случаях умный начальник, сам, может быть, даже и не желая особенно, чтобы его хвалили, прекрасно понимает, что это необходимо для стабильности всей властной и общественной конструкции.

Ким Ирсен создавал идеи чучхе как альтернативу советской и китайской моделям марксизма. В 70-е годы, на протяжении примерно 7-8 лет, северокорейские идеологи утверждали – была даже работа Ким Ченира на эту тему – что их творение вообще превосходит марксизм-ленинизм, что идеи чучхе – это не интерпретация марксизм-ленинизма, а новая, более высокая ступень в развитии радикально левой, радикально революционной идеологии.

Не только Ким Ирсен тогда хотел выйти из-под советского или китайского контроля, не только у него было тогда желание использовать советско-китайские противостояния в своих целях и проводить самостоятельную политику. Этого хотело большинство – как бы сейчас сказали, северокорейского политикума, так что в определенном смысле Ким Ирсен был воплощением народных чаяний, голосом масс. Не случайно попытки сменить Ким Ирсена закончились столь скандальным провалом в 1956 году. Народу хотелось тогда примерно того, что хотел Ким Ирсен. Другое дело, что народ потом, может быть, не был особо рад, когда получилось так, как ему когда-то хотелось. Но это со всеми нами бывает – как говорится, «опасайтесь своих желаний, они могут сбыться».

К. Асмолов: Кстати, в отличие от некоторых других диктаторов, ни один из представителей династии Кимов особенно не наслаждался собственным культом – публично, во всяком случае. Большинство известных историй о том, как проявлялось личное отношение того же Ким Ирсена к своему культу, носят, скорее, характер исторических анекдотов и говорят об определенной самоиронии – вроде известного случая «Я же вождь!», описанного Вадимом Ткаченко.

А. Ланьков: Он поощрял этот культ, и очень активно, но, конечно, личное тщеславие было далеко не главной причиной. Действительно, эти истории перекликаются со схожими историческими анекдотами про Сталина. Рассказывают, что, устраивая своему сыну Василию очередную выволочку за недостойное поведение, Сталин бросил: «Ты думаешь, ты Сталин? Ты думаешь, я Сталин?» – а потом показал на свой портрет на стене кабинета: «Вот это Сталин!».

Или воспоминания сына Михаила Шолохова о том, как его отец спрашивал Сталина, почему тот позволяет себя настолько превозносить? И вождь якобы ответил – как в тот момент услышал Шолохов, что людям, мол, нужна башка. И лишь выйдя из кабинета, Шолохов понял, что Сталин говорил: «людям нужен божок».

Конечно, превознесение – особенно массовое – очень сильно греет и тешит самолюбие, но руководители на таком уровне понимают, что это превознесение – один из несущих элементов властной структуры. Они понимают, что их несет волна народного обожания, что на этой волне надо ехать, ее надо разгонять.

Н. Ким: Но на Юге не возникло такой формы вождизма, как в КНДР, хотя там тоже были авторитарные правители...

А. Ланьков: Они не могли. Еще со времен Ли Сынмана им приходилось притворяться либеральной демократией.

К. Асмолов: Однако Ли Сынман совершенно серьезно считал себя мессией корейского народа. Да и на купюрах его портрет появился раньше, чем портрет Ким Ирсена. Статуя Ли, сброшенная в 1960 г., была в два раза больше самой большой статуи Кима. При Чон Духване был снят замечательный документальный фильм о том, как рад корейский народ тому, что есть у него руководитель, посланный Небом.

Н. Ким: Важное отличие в том, что ни один факт возвеличивания того или иного президента в Южной Корее не становится институционализирующим. Вокруг этих образов, этих статуй и объектов почитания не складывался, как в КНДР, государственный ритуал.

К. Асмолов: Иногда не успевал сложиться, иногда просто уступал тому, что творилось на Севере.

А. Ланьков: В одном случае они где-то подражали – «косплеили», как сейчас говорят – Сталину. В другом – «косплеили» американскую модель.

А. Соловьёв: Мифу как таковому, в силу его бытования свойственно что-то заимствовать и имитировать. Потом заимствованное перерабатывается и натурализуется. Мы берем что-то, пересаживаем на свою почву, как, собственно, это было с теми же идеями чучхе, теми же идеями крови и почвы. Это очень яркие примеры.

К. Асмолов: У корейского подражательства есть своя амбивалентность. Оно прекрасно сочетается с декларативным стремлением к самостийности, а стремление к самостийности – с унаследованным еще со средневековья стремлением показать себя идеальным вассалом.

Можно провести достаточно последовательную линию от традиционного *садэ* – служения высшему – через модернизацию к вестернизации, европеизации и глобализации.

Прекрасная иллюстрация – исторический анекдот про то, как активисты Общества независимости, решив эту самую независимость продемонстрировать, сломали в Сеуле ворота, выполненные в традиционном стиле (они символизировали вассалитет и преклонение перед Китаем), и построили другие, которые должны были символизировать свободу и стремление к просвещению. Но эти ворота были копией Триумфальной арки. Получается, что борцы с традицией сломали символ одной традиции и возвели символ другой – но и символ (ворота) остался по сути неизменным, и в обоих случаях корейский символ – это копия чужого оригинала. Иными словами, мы поменяли одного превосходящего нас «покровителя» на другого и назвали это стремлением к самостоятельности и просвещению. И теперь у нас самая демократичная демократия и самая глобализованная глобализация.

Н. Ким: Я в рамках одного проекта изучала учебники по истории, которые издавались для старших школ в 50-60-х. Соответственно, я имела возможность знакомиться непосредственно с историческими текстами, которые относятся к новейшей истории. И на протяжении всего периода авторитарных режимов Ли Сынмана, Пак Чонхи, Чон Духвана новейшая история в учебниках была сведена фактически к нескольким страницам.

Такая лапидарность истории после 1945 года не коррелировала с тем, что делало правительство Пак Чонхи, пропагандируя различные националистические идеи, основывая такие мобилизационные движения как «Движение за новую деревню» *Сэмаиль ундон* (а название явно перекликается с названием Первомартовского антиколониального движения «Самиль ундон»).

С одной стороны, он обращался к образам антиколониальной героики, а с другой – стал копировать те образцы, те модели управления, которые использовала колониальная администрация. Удивительно, как в «обертке» из националистической риторики через идеологическую обработку воспроизводились – осознанно или нет – экстенсивные мобилизационные модели, характерные для колониального периода.

А Ланьков: Важно, что Южная Корея все-таки успешно модернизировалась. Идея великого вождя свойственна все же в большей степени традиционному крестьянскому обществу. В старой марксистской историографии это называлось наивным монархизмом крестьян. В Южной Корее по этому крестьянскому сознанию очень сильно проехали последующие события, экономический рост, радикальнейшая модернизация. А в Северной это сознание осталось.

И. Дьячков: Это, кстати, наглядно демонстрирует общность мифов. Не одинаковость, но общность: символичный язык этих отличных друг от друга мифов очень похож – и специфичен для Кореи. Более того, представления о критериях великого лидера в обеих Кореях в принципе оказались сходными. Они отличаются, скорее, интенсивностью проявления того или иного качества. И эти представления, скорее, имеют конфуцианскую природу.

А пример Ли Сынмана показывает, как справедливо заметил Андрей Николаевич, что международное положение влияет и на внутреннее мифотворчество. Ким Ирсен, с одной стороны, мог себе позволить уйти в своеобразную мифологическую реальность, а с другой стороны, необходимость балансировать между двумя центрами силы, между СССР и Китаем вынуждала его обеспечивать свою исключительную самость за счет ухода в мифотворчество. А у Ли Сынмана, с одной стороны, был только один центр силы и

балансировать ему не было необходимости, а с другой, американцы могли и ограничивать его в подобном мифотворчестве. Оставалось воспроизводить модель, которая американцами предлагалась – или, по крайней мере, изображать это.

К. Асмолов: Вообще, набор качеств вождя, то есть его стереотипный образ, это действительно конфуцианский концепт добродетелей. И это касается не только вождя: со времен династии Корё (а то и раньше) известно, как надо себя вести, чтобы попасть в тот или иной раздел биографий официальной летописи

А. Соловьёв: Ким Бусик, как известно, создал свою систему-классификатор, следуя уже сложившемуся конфуцианскому ряду архетипических добродетелей и пороков. Официальное летописание на Дальнем Востоке это действительно «политика, опрокинутая в прошлое»; одна из его задач – это практическая дидактика на уровне государственного управления. Это хорошо известно. И это, пожалуй, облегчает задачу деконструкции архетипов власти, архетипов подданного.

И, вероятно, подталкивает к тому, чтобы искать и в модерном – и даже постмодерном – обществе архетип, допустим, гражданина. На Севере архетип гражданина, пожалуй, не слишком отличается от архетипа подданного. На Юге должны существовать архетипы как гражданина леволиберального, так и гражданина правоконсервативного. И эти архетипы должны активно использоваться в дидактических целях.

Но стоит ли возводить «архетипизацию» эксклюзивно к конфуцианской традиции? Вот, один из титулов Ким Ирсена – *обои* – состоит из двух морфем: «отец» и «мать». То есть он не просто «отец нации» (вполне современный архетип), а родитель/прародитель – отец и мать, вместе. А это невероятно архаичный архетип, гораздо древнее Конфуция.

Понятно, что проследить достоверную связь между обоеполыми богами или героями древности и титулатурой северокорейского вождя середины XX века вряд ли возможно. Это вообще может быть некий спекулятивный момент, но тем не менее в рамках исследования генезиса мифа такие вопросы, как мне кажется, мы должны себе задавать.

Н. Ким: Я думаю, тут все проще. Ким Ирсен в рамках мифа – это основатель корейского государства совершенно нового типа, которого не существовало прежде. Миф подчеркивает качественный разрыв с тем, что было до этого в экономике, в социальной структуре и так далее. Поэтому он, как основатель корейского государства, новой корейской нации, и является прародителем – и матерью, и отцом одновременно.

И. Дьячков: А вообще можно было бы в духе некоторых современных тенденций «объяснить» саму возможность появления образа Ким Ирсена на страницах журнала «Корейская женщина» именно этой гендерной амбивалентностью архетипа *обои*. Но мы этого делать не будем, конечно.

А. Соловьёв: Давайте вернемся к идеологии. Были ли попытки совсем отстегнуть кимирсенизм – или чучхе – от его марксистских корней?

А. Ланьков: Такие попытки предпринимались в 70-е годы, примерно с 1972-1973-го до примерно 1978-1979 года. Есть очень откровенные, очень недвусмысленно сформулированные тексты за подписью Ким Ченира. Сам он их, скорее всего, не писал – но окомлял концептуально. Там говорится, что марксизм – это лучшее прогрессивное учение эпохи раннего капитализма. Ленинизм – это лучшее прогрессивное учение эпохи империализма. А кимирсенизм, то есть идеи чучхе, – это лучшее прогрессивное учение эпохи распада колониальной системы и роста всех новых сил.

Потом эту тему оставили, и вопрос об отношениях идей чучхе и марксизма так и оставался не проясненным до конца. Сняли ее, я думаю, потому что она оказалась красной тряпкой для идеологических отделов правящих партий всех тех стран, которые кормили Северную Корею и держали ее экономику на плаву. И Пхеньян решил их больше не дразнить.

К. Асмолов: Как раз этот период северяне пытались влезть в движение неприсоединения и фактически скормить им чучхе, как универсальную идею для постколониальных обществ. Соответствующий отдел ЦК КПСС был очень недоволен.

А. Ланьков: Так все были недовольны. Но Ткаченко-то, который в ЦК Корею курировал, северян сильно застрашал. Он был среди тех примерно 20 человек, которые, фактически, вынудили северян прекратить свои идеологические изыскания.

Н. Ким: С точки зрения собственно марксистско-ленинской теории, ключевое отличие идеологии чучхе от классического марксизма-ленинизма в том, что во главу угла ставится субъективный фактор. Ведь «опора на собственные силы» – это исторический субъективизм. А марксизм-ленинизм основан на историческом материализме. Он утверждает, что движущей силой истории являются объективные процессы, связанные с развитием средств производства. И только со сменой этих явлений меняется общество.

К. Асмолов: В марксистско-ленинских координатах чучхе – скорее даже субъективный идеализм. Собственно, суть «тэанской системы» и «метода Чхонсанри» в том, что нормальный специалист не может заниматься планированием, потому что не в состоянии представить себе, на какие чудеса способен правильно стимулированный идеологией народ. А мотивация – один из краеугольных камней чучхе: дескать, правильно мотивированный народ способен на любые чудеса.

Н. Ким: Вообще-то, и «тэанская система», и «метод Чхонсанри» это просто экстенсивный метод развития за счет эксплуатации рабочего класса.

И. Дьячков: Анализируя генеалогию чучхе и сравнивая чучхе с марксизмом-ленинизмом, для начала неплохо бы понять, что такое чучхе. Для меня, например, это затруднительно, мы понимаем только какие-то отдельные его компоненты. Но эта идеология со стороны выглядит – или должна выглядеть – чем-то бóльшим, чем «дух и метод Чхонсанри» и тому подобные мобилизационные лозунги. Но известное нам наполнение этой идеи выглядит как-то мелко, а есть еще и некая «серая» зона, амбивалентная. И мне кажется, что эта амбивалентность намеренная.

А. Ланьков: Идеи чучхе очень трудно изложить, потому что они, в общем, сводятся к трем-четырем фразам, которые повторяются на разные лады и открыты к самым разнообразным, часто – просто взаимоисключающим интерпретациям.

Надо помнить, что изначально идеи чучхе были задуманы не как философия, а как политический жест, как декларация идеологической независимости от Советского Союза и Китая. То, что они такие гибкие и ничего конкретного не значат, по сути, это же очень хорошо. «Давайте делать все по-своему и так, как нам хочется. И если мы захотим, то все получится». Вот, собственно, я вам изложил всю идею чучхе. А чего нам захочется, это решает вождь, это тоже есть в чучхе.

Вождь решит строить завтра капитализм – будет капитализм. Решит строить «полпотизм» – будем строить полпотизм (естественно, под другим именем). Что захотим, то у нас и получится.

А. Соловьёв: Хорошо, с северокорейской версией разобрались. Хотя тут, можно, конечно, пуститься вслед за Брайаном Майерсом в глубокие семантические исследования того, как кантовский *субъект* превращается транзитом через японскую трактовку в северокорейский *чучхе*, и так далее... Итак, северокорейское *чучхе* – это вождизм и биологически детерминированный национализм. А южнокорейское *чучхе*, которое *чучхесон*, это что?

К. Асмолов: Самостийность, суверенная демократия с корейской спецификой в таком количестве, что уже не понятно, что осталось от демократии. Как Ё Унхён в 1945-м не разъяснял, что такое «чучхечжогыро», так и Ким Ир Сену в 1955-м не надо было никому объяснять, что такое «чучхе», это был всем интуитивно понятный термин.

А. Соловьёв: Вообще, термин «чучхе» присутствует в национально-освободительном дискурсе с первого десятилетия XX века. Еще в 1908 г. его использовал Син Чхэхо в полемической статье, в контексте, подразумевавшем, что читатель с этим концептом знаком. А сегодня в Южной Корее остался чучхесон, или он ушел вместе с Пак Чонхи?

И. Дьячков: Если воспринимать чучхе как некий исторически обусловленный процесс, то его нельзя отвязать от исторической травмы, о которой Наталья Николаевна говорила, от травмы, связанной с потерей. Начать хотеть стать субъектом можно, только если перестал быть субъектом.

Мы об одной из таких травм уже говорили – образ Кореи как «креветки в драке китов». Эта травма заставляет корейцев себя пиарить на весь мир. Это в некотором смысле эхо изначальной чучхейской идеи.

Н. Ким: Чучхесон – многокомпонентная и порой внутренне противоречивая концепция. Об обращении к методам колониального управления я уже говорила, а сейчас хочу отметить такой элемент, как идею *хонъик инган* – идею о том, что человек должен вести себя в соответствии с идеей всеобщего блага. То есть и правитель, и гражданин, все должны друг другу помогать и заботиться об общем счастье.

А с ней соседствовала идея демократии. Пак Чонхи презентовал себя убежденным демократом (правда, убежденным сторонником «управляемой», «суверенной» демократии). Отсюда его концепция «национальной демократии», зафиксированная в его текстах.

К. Асмолов: Пак Чонхи – представитель поколения, которое училось в японских школах по японским учебникам, выращивалось по японским моделям воспитания. При этом он принадлежал к амбициозной когорте этого поколения, нацеленной на то, чтобы преуспеть в рамках той системы. Такой человек может потом эту систему ненавидеть, но других моделей у него в голове нет.

Н. Ким: Я бы вернулась к мысли о лапидарности новейшей истории. Можно даже сказать, что до начала значимых экономических успехов Южной Кореи, этой истории почти и не существовало, поскольку в тот период в стране все там было не очень хорошо. Пак Чонхи ненавидел Ли Сынмана, считал, что тот плохой, диктатор и прочее. То есть при нем все было плохо, а тут экономика растет, все крепчает, народ и дух. Поэтому сегодня консерваторы превозносят экономические успехи прошлых режимов. Получается, что современная Южная Корея ведет свое начало от эпохи Пак Чонхи. Он-то и есть настоящий отец и родитель нации.

Прогрессисты, конечно, возражают – тогда погибали люди, нарушались гражданские права. И пытаются убрать историческую личность Пак Чонхи из исторического нарратива. Или

хотя бы принизить его значение. Но отрицать экономические успехи при этом они не могут. Мун Чжэин постоянно говорит в День освобождения об экономических успехах, но ему в голову не придет упомянуть Пак Чонхи.

К. Асмолов: В недавние времена даже представители правого лагеря – недруги Пак Кынхе – в угоду политической конъюнктуре заговорили о том, что Пак Чонхи не так важен, а основы демократии и свободного рынка заложил президент-основатель Ли Сынман.

А. Ланьков: Я бы вывел Пак Кынхе из дискурса. На мой взгляд, подобные фигуры умолчания связаны с практическими соображениями более общего порядка. Это стремление обойти острый вопрос, по которому полярные мнения делятся примерно поровну. В такой ситуации открытая дискуссия может быть опасной для общественного спокойствия. Поэтому лучше просто не будить лихо, оставить вопрос следующим поколениям.

К. Асмолов: Нечто вроде «забывания Сталина» в позднебрежневское время.

А. Опарин: А ведь «проблема Пак Кынхе» усугубляется еще и территориальными различиями, и это тоже такая своеобразная мина очень уж замедленного действия. И очень глубоко запрятанная в толщу южнокорейской истории. Поэтому действительно, данную фигуру и вообще данный период лучше не вспоминать.

И. Дьячков: Как заметил Алексей Толстой в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «ходить бывает склизко по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше умолчим». Я могу предложить еще один пример исключения Пак Чонхи из исторического нарратива, из государственно-строительного мифа, за ним далеко ходить не надо. Можно открыть прямо южнокорейскую Конституцию, где написано: мы, южнокорейское государство, ведем свое начало от Первомартовского движения через шанхайское временное правительство, через Вторую республику. И все, больше ничего нет. И Пак Чонхи там нет, Ли Сынмана там нет, все очень вот так красиво сделано.

К. Асмолов: Наталья Николаевна, у которой про это была целая серия материалов, может рассказать про очень интересную мифотворческую дискуссию. Которая сейчас как раз идет вокруг Дня освобождения.

Н. Ким: Когда я начала заниматься исторической памятью, исторической политикой в Корею, я поняла, насколько тяжела для корейцев травма колониального режима, насколько болезненно они себя чувствуют. Это можно сравнить с ощущениями человека, подвергнувшегося изнасилованию, какому-то чудовищному надругательству. И они хотят как-то эту травму изжить каким-то образом. Но как ее изжить? Нужно показать то, какими мы были великими когда-то, или что мы, несмотря на то что нас насиловали, били, убивали, мы сохранили дух независимости.

И. Дьячков: Это правда. Корейский исторический дискурс как будто даже наслаждается этим насилием и убийствами.

А. Соловьёв: Вместе с тем, как Константин Валерианович в самом начале заметил, это классическая кэмпбелловская история преодоления экзистенциального испытания.

Н. Ким: И вот, преодолевая это испытание, эти объективные 35 лет колониального периода, они решили, что надо, во-первых, углубить историю современной государственности. То есть вести ее с 1919 года, с основания правительства.

Получается, что уже в период колониального режима корейцы основали свое собственное правительство, провозгласили республику. У них было правительство в Шанхае, оно действовало, но ни державы первой трети XX в., ни победившие во Второй мировой Союзники не признали это правительство, не признали Народную республику в сентябре 1945 года.

Соответственно, надо подчеркнуть роль Временного правительства в движении за независимость. Показать, насколько оно было сильным и крепким. Поэтому там целый институт работает, собирает материалы по борцам за независимость. И даже в День освобождения президент Мун Чжэин начинает не с освобождения, собственно, Кореи, а с фраз об этих борцах и о том, какую роль они сыграли в создании независимости, суверенной корейской государственности. А Союзники, СССР вообще никогда не упоминаются.

Это прежде всего прогрессистская интерпретация истории. У консерваторов – своя, поскольку у того же Ли Сынмана было специфическое отношение к Временному правительству. Он не хотел афишировать его роль в создании суверенной государственности, потому что Временное правительство бойкотировало выборы, в результате которых была создана республика. Так чего об этом временном правительстве тогда говорить?

А. Соловьёв: Потрясающе подрывной нарратив, который может привести к очень серьезной ругани.

К. Асмолов: Это очень интересный идеологический спор о преемственности. Ведь официальное название страны – и там, и там «Тэхан мингук», а первый президент Тэхан мингук образца 1919 г. – Ли Сынман. Однако в 1925 г. его попросили на выход за предложение сделать Корею подмандатной территорией США, и к 1945 г. Временное правительство Республики Корея контролировали Ким Гу, которые к созданию государства образца 1948 г. не имели никакого отношения и, более того, выступали против инициированного Ли Сынманом раскола.

Но это, по сути, второй виток такого противостояния. Еще в начале XX века люди типа Пак Ынсика или Син Чхэхо фактически заявляли, что они, по сути, должны взять реванш через историю. Именно в это время закладывается основа национальной истории Кореи и целый ряд государство-образующих мифов. А с другой, ведется активное богоискательство и богостроительство, что, собственно, приводит к «Хвандан коги».

Это период господства идеи о нашей великой древности. О том величии, которое у нас сейчас отобрали. Это концепция «тела и духа» государства, когда, условно, есть тело государства – территория, которую можно утратить, но дух как история, национальная культура, должен сохраниться. И если его утратить, нация погибнет.

Похоже, это и были первые попытки заложить тот самый исторический нарратив «самостийного величия», верно?

Н. Ким: Да, так и есть.

А. Соловьёв: Кстати, если говорить о национальном духе, можно снова подозревать заимствования из немецкой философии, которая как раз говорит о национальном духе в конце XIX – начале XX века. Тогда же этот немецкий нарратив попадает в Японию, и через нее (и через Шанхай) – уже в Корею.

Н. Ким: Мне кажется, все было попроще. У них основное было – язык, территория и кровь.

К. Асмолов: А ведь идеологи Первой республики Ли Бомсок и Ан Хосан, изрядно вложившиеся в создание правонационалистического нарратива, учились как раз в Германии, и очень много привнесли напрямую оттуда. По-моему, термином «чучхе» они тоже пользовались. При том, что эти товарищи фактически открыто на каком-то этапе говорили о необходимости использования каких-то немецких (а вообще-то – гитлеровских) практик в нациестроительстве.

А. Соловьёв: Похоже, мы только что определили одно из интересных направлений для будущих исследователей, и оно может быть достаточно перспективным. Возможно, роль немецких идей и немецкой философии в истории национально-освободительного движения Кореи и в истории национально-освободительной мысли Кореи еще недоисследованы. И там можно покопаться.

К. Асмолов: Вообще, очень интересно, что читали создатели мифов, на что они опирались. У того же Ким Ирсена – в идеологическом смысле – в голове полная каша. С одной стороны, он происходил из либеральной сельской интеллигенции, связанной с протестантами. С другой, он читал, в числе прочего, «Мать» Горького и «Железный поток» Серафимовича. Но вести серьезные разговоры о диалектике и политэкономии ему было не с кем, в отличие от Пак Хонёна и других деятелей коммунистического движения. Он общался не с московскими философами, а с профессиональными замполитами, а боевую подготовку предпочитал любым политзанятиям.

Как известно, у Ким Ирсена нет нормальных теоретических работ. Большая часть в его собрании сочинений – это речи, статьи, выступления, заметки на какую-то тему. То есть «высказывания по поводу». Какой-то серьезной теорией занимался прежде всего Ким Ченир. А человек, совсем противоположный отцу по характеру. Серьезный интроверт с высокой самоиронией. Известный киноман, одним из самых любимых фильмов которого был «Бегущий по лезвию бритвы». Известны некоторые его студенческие работы по истории – там есть кое-что детское и завиральное...

С Ким Чыныном еще интереснее. Конечно, значение его пребывания в Швейцарии и Германии не стоит преувеличивать, но определенный след оно оставило. Поэтому, действительно интересно, условно говоря, что читает Ким Ченын перед сном.

И. Дьячков: Конечно, изучать социально-культурный багаж вождей необходимо, хотя бы потому, что на Севере, в отличие от Юга, как раз творцов или, по крайней мере, редакторов этих мифов, как правило, можно назвать по именам и посмотреть, как они выглядят. Когда мы можем надежно персонифицировать и идентифицировать мифотворца, мы получаем возможность понять, как его личные особенности повлияли на это творчество, с одной стороны. (Кстати, как показывает пример с Пак Чонхи, в южнокорейской истории тоже порой можно надежно идентифицировать мифотворца). С другой стороны, в практической реализации и южнокорейского, и северокорейского мифа невозможно не заметить определенный синкретизм, связанный с тем, какая именно каша была в голове у авторов.

Это синкретизм, пожалуй, в духе тонхака, когда можно в одну кучу смешать все – от Христа до конфуцианских добродетелей. Вот мы собираем в кучу демократию, чучхе, персональные представления, замешанные на японском опыте – и хорошенько перемешиваем. И пытаемся это реализовать. А почему так можно? Потому что эти представления, возможно, ряд из них, не укоренены. Они экспортные, заимствованные. Но в итоге на первый план выходят все же укоренившиеся воззрения и концепции. И в первую очередь, конфуцианские – такие, как примат общего блага, что все должны быть одной семьей, которая о друг друге заботится.

А. Соловьёв: Подобный синкретизм мы можем возводить – с определенными оговорками – даже к периоду Трех государств. А что касается бэкграунда вождей – возможно, когда у Фёдора Тертицкого выйдет огромная биография Ким Ирсена, мы узнаем массу потрясающе интересных деталей. Но если обращаться к сегодняшнему дню – у меня ко всем вопрос. Не складывается ли у вас ощущение, что Ким Третий пытается каким-то образом «деперсонифицировать» свой образ? Переложить ответственность за страну, за отправление власти со своей персоны, со своего личного образа на какую-то институцию, – на партию, на молодежь?

И. Дьячков: Миф везде имеет интерсубъектную, а не субъективную природу, но на Севере субъективный фактор все же более заметен. В нынешней Северной Корее, на мой взгляд, идет комплексный процесс. По крайней мере, он шел до пандемии. Все политические реформы были направлены на то, чтобы представить КНДР «нормальной страной». Не военным лагерем с персоналистским управлением, а страной, где есть правительство, партия, которая регулярно проводит съезды, которые и принимают политические решения. Именно на это было направлено редактирование Конституции. Более того, убрали тэанскую систему, убрали «дух и метод Чхонсанри», заменили какие-то совсем экзотические формулировки на более обтекаемые...

Можно говорить о тренде на «нормализацию» политической системы при Ким Ченыне – на «нормализацию» внешнюю, номинальную, призванную сделать так, чтобы КНДР выглядела бы со стороны просто как еще одно государство на карте.

К. Асмолов: Мне представляется, что Ким Ченын действительно отходит от харизматической модели управления, демонстрируя при этом человечность, слабости какие-то. Он может начать себя даже укорять – частично ритуально – в том, что слишком мало работает, что ему сил не хватает. И некоторые моменты действительно идут несколько вразрез с традиционным образом вождя, хотя, с другой стороны, он вождь, и ему лучше знать, что может делать вождь, а что не может.

И. Дьячков: Я хочу еще вернуться к замечанию Натальи Николаевны. КНДР себя действительно воспринимает именно как новое государство. И этот разрыв исторической традиции – очень значимое отличие от Юга. Не так давно наши дипломаты предложили северокорейским товарищам отметить почти полуторавековой юбилей отношений, намекая на договоры царской России и Чосона. Северокорейцы сказали: нет, это были не мы. Дескать, наша история и наши с вами отношения начинаются в 1948 году. Это интересное отличие от Юга, который как раз возводит свою непрерывную идентичность к допотопным временам.

А. Опарин: На уровне деклараций Северная Корея, разумеется, является новым образованием. Однако сущностно все-таки Северная Корея скорее продолжает традиции исторической Кореи, традиционной Кореи. И даже нынешняя закрытость, это ровно тот статус, в котором Корея прожила огромное количество времени.

А. Соловьёв: Любой исторический параллелизм – оружие обоюдоострое. Он очевиден на первый взгляд, но несет ли он в себе каузальность? Есть ли реальная причинно-следственная связь между нынешней моделью и исторической, или же это просто совпадение?

И. Дьячков: Это и есть грань между мифом и реальностью. Северная Корея строит себе миф один, а реальность может быть другая. Это справедливо, тут нет противоречия.

Н. Ким: Но люди должны верить в этот миф. И они верят в него, и живут в нем. А мы находимся вне этого мифотворчества, поэтому мы оцениваем это как миф. А для них это суть и плоть их общей реальности.

А. Соловьёв: Это очень важное замечание. Любой миф работает только тогда, и только до тех пор, пока он отвечает эмпирическим и духовным ожиданиям и запросам своих носителей и своих творцов. Поэтому такой вопрос: повлияло как-то на северокорейский миф его очевидное эмпирическое крушение в середине 90-х годов, когда рухнула система государственного снабжения? Сказалось ли это как-то на уверенности общества в государственном политическом мифе, или нет? Или северокорейские мифотворцы нашли способ этот миф защитить или реанимировать?

А. Ланьков: А мы не знаем. Если мне кто-нибудь скажет, что он знает, как настроена широкая северокорейская общественность, я этому человеку не поверю. Я говорю с северокорейцами много – сейчас с беженцами, а были возможности говорить и непосредственно «на их территории». В некоторых случаях я мог ощутить настроение, и у меня не было оснований думать, что меня дурят. Но таких разговоров было очень мало.

При этом я никогда не говорю с беженцами о политике, не спрашиваю ни об их отношении к власти, ни о том, как люди вокруг них относятся к власти. Я не верю, что они ответят мне правду. Они ответят то, что, по их мнению, я хочу услышать. Вдобавок, они будут на свои ответы проецировать опыт пребывания в Китае и Южной Корее.

Мы не знаем, что думают северокорейцы в массе своей. У меня есть лишь некоторые кусочки общей картины, но я бы на их основании не стал делать никаких серьезных обобщений. Я думаю, что это вещь, которая так и останется неизвестной.

Допустим, лет через 30-40 лет ситуация в КНДР как-то драматически изменится, станет возможным проведение свободных исследований. Допустим, кто-то тогда возьмется изучать мышление людей 2010-х или в 2000-х годов. Мы можем сейчас достоверно реконструировать, что думал советский человек о советской системе в 1965 году? Мы можем встретить массу самых разных – причем порой сильно политизированных – взглядов на эту проблему; взглядов взаимоисключающих и почти недоказуемых. Короче, в северокорейском обществе действительно что-то происходит, что-то меняется, и власть на этот как-то – порой очень нервно – реагирует. Но это, на мой взгляд, изучению практически не поддается. Тут я абсолютный скептик. Считаю это объективно существующим, но не познаваемым.

К. Асмолов: Мы, пожалуй, можем сказать, что северокорейские власти очень четко понимают, что кризис веры – это очень серьезная угроза существованию системы. Они понимают, что что-то надо делать с молодежью, и что надо, на самом деле, не только запрещать, но предлагать свою альтернативу, вытеснить угрозу. Вопрос – чем вытеснить. «Моранбон» это круто, но это все-таки Ванесса Мэй 20-летней давности.

Еще они очень хорошо понимают, что этот кризис веры распространяется и на партийные кадры. Но у них очень ограниченная палитра возможностей. Ким Ченын более или менее верно ставит диагнозы, хотя, естественно, старается говорить обвиняками. Но он может оперировать только надежными клише: расширить, углубить, усилить идеологическую работу, героически бороться и тому подобное. Он постоянно напоминает об ответственности партийных кадров перед народом, постоянно требует повернуться к народу лицом.

А. Соловьёв: Раз уж заговорили о молодежи – кто-нибудь знает о судьбе канала Echo of Truth и девушки по имени Ына?

А. Ланьков: Канала нет, но похожие вещи периодически вылазят.

Д. Шкатов: Добавлю, что та команда, работавшая над каналом, постепенно возвращается в медиа-пространство. Они продолжили серию видеоблогов от имени девушки Чинхи – они появляются на новом канале Mokran TV, правда, там всего 200 подписчиков. У них работает китайское направление со своими персонажами, но оно и так никуда не девалось. Канал NewDPRK, вещающий на китайскую аудиторию, живет и здравствует. Кроме того, после блокировки они создали канал Sam jiyeon, куда загрузили архив с удаленного канала, но сейчас там появляются лишь сюжеты с северокорейского ТВ.

К. Асмолов: В YouTube северокорейские каналы режут и рубят примерно с интервалом раз в две недели. Идет серьезная организованная кампания по глушению.

А. Соловьёв: Так мы подошли к практическому вопросу – вопросу пропаганды. Уже упомянутый сегодня Брайан Майерс предлагает довольно интересную классификацию. Он делит северокорейскую пропаганду на три трека. Внутренний, то есть сугубо для граждан Северной Кореи. Внешний – реактивная по своей природе контрпропаганда. Есть некое информационное давление извне, мы ему сопротивляемся. Иными словами, это вещание и на северокорейскую аудиторию, и на внешнюю. И, наконец, экспортный – то есть иновещание. Тот же канал Echo of Truth, например. Он рассматривает эти потоки по отдельности – то есть они не пересекаются, не смешиваются.

Насколько это удобная и корректная исследовательская рамка? И насколько действительно четко эти потоки разделены и не пересекаются?

Д. Шкатов: Мне кажется, что не совсем правильно говорить о том, что они совершенно изолированы друг от друга. Это видно на примере команды, которая делала недавно прогрессивные ролики на канале Echo of Truth (он же Echo of the DPRK ранее). Начав пробовать что-то совершенно не северокорейское, они в итоге пришли к очень северокорейским форматам работы, только с более качественной картинкой. Они стали воспроизводить – с небольшим запозданием – новости, которые считались в КНДР важными. Они рассказывали о массовых выходах на работу в поля, о том, как хорошо жить в колхозе, и как мы все любим партию, и как мы все собираемся отмечать юбилей партии.

Можно обсуждать манеру, в которой это все преподносилось, анализировать сами тексты выступлений, но в целом, пытаясь работать с иностранной аудиторией по-другому, даже «новые пропагандисты» все равно не могут, или им не дают, работать вне привычных рамок северокорейской информационной борьбы.

И. Дьячков: Потому что это логистически проще.

К. Асмолов: В идеократической системе почти невозможно адаптировать контент «под конечную аудиторию». Кроме того, существует еще и бюрократическая инерция. А треки – пожалуй, треки видны. Когда я в Музее классового воспитания спросил, почему пропагандисты работают так топорно, они в ответ почти извинялись – дескать, понимаете, это все для внутренней аудитории. Но сейчас вещание стало немножко лучше. Возможно, потому, что этим занимаются относительно молодые люди.

И продолжают перенимать опыт у более продвинутых пропагандистов – у кинематографистов, в частности. Северокорейское историческое кино сейчас все сильнее

напоминает южнокорейское, которое я всегда смотрю с интересом. Это очень хороший набор маркеров того, как формируется общественный интерес к какой-то теме, к какой-то исторической фигуре, образу, символу; как эти вещи через кино легитимизируются. И это очень мощный инструмент.

Есть очень показательный боевичок под названием «Убийство». Это прекрасный пример смены исторических ролей. Группу бойцов-патриотов там фактически возглавляет Ким Вонбон, которого сейчас начали довольно активно снова записывать в патриоты, несмотря на его карьеру на Севере, что раньше было неприемлемо, поскольку «борец за независимость» – это одно, а «красный партизан» – совсем другое. Очень интересен и образ главного негодяя, который, по сюжету, в 1919-1920 годах тоже вполне себе боец-патриот (то есть террорист и убийца, но с правильным знаком), а к 30-м годам становится типичным коллаборационистом-чхинильпха и лоялистом.

А. Соловьёв: Это уже элементы постмодерна в корейском мифе. Для Юга это, в принципе, совершенно нормально, там он давно прижился, и в некоторых областях постмодерного искусства южнокорейцы давно впереди планеты всей. Поэтому почему бы постмодерну не оказаться и в национально-политическом мифе. А вот на Севере постмодерн появился совсем недавно. Ведь та самая Ына – это же «классический» постмодерн, это симулякр, это пастиш Фредерика Джеймисона. Она говорит на чужом языке, о каких-то чужих вещах, и она совершенно не предназначена для северо-корейцев. То есть это такой «децентрированный человек». Но это ладно. Но, коллеги, а как бы вы интерпретировали, допустим, «старение» статуи? Означает ли то, что Ким Ирсену поменяли голову на более старую, что Великий вождь подвержен влиянию времени? То есть время сильнее, чем Великий вождь?

И. Дьячков: Образ должен соответствовать тому, который у вас есть. Какой памятник ставить, какую фотографию вешать на могилу человеку – где ему 20 лет или где ему 60.

К. Асмолов: Есть еще одна важная деталь. Когда поняли, что статуи две, а государственная религия называется идеи Ким Ирсена – Ким Ченира, появилась необходимость подчеркнуть преемственность поколений. Мне запомнился другой момент – там можно, наверное, говорить о совершенно неосознанном и случайном постмодерне, потому что один из самых популярных в западной аудитории северо-корейских клипов группы «Моранбон» получил признание совсем в неожиданном для северо-корейцев сегменте из-за своего перевода на английский. Песня называется «Полководец преодолевает пространство» – это тот самый сказочный *чхукчиппон*, техника почти мгновенного перемещения. Но когда массовая англоязычная аудитория видит северо-корейскую песню с названием «General Uses Warp – Генерал использует варп», она, пожалуй, не может не любопытствовать...

А. Соловьёв: Давайте обсудим, пожалуй, самую интересную для международных проблем: как политический миф влияет на внешнеполитическое поведение стран.

И. Дьячков: Определяющим образом влияет, можно сказать. Во-первых, это всевозможные проблемы исторической памяти, исторические споры, как актуализированные, так и спящие. А второе – это уже упомянутое стремление к повышению своего международного статуса, который не сводится только к экономической конвертации, но приносит и чисто политические дивиденды.

Республика Корея давным-давно начала движение сначала к обретению статуса региональной, потом средней державы – что бы мы под этими определениями ни понимали. Она встраивается во всевозможные международные структуры, пытается формировать глобальную повестку. Причем встраивание это идет не только и не столько для того, чтобы

сказать что-то миру, а и для того, чтобы сказать что-то себе; сказать самим себе, что мы миру что-то говорим. Это, безусловно, важные моменты. А уж как исторические мифы и исторические травмы определяют общение со всеми четырьмя крупнейшими соседями, тут уже даже и говорить особо нечего. Это на поверхности, мне кажется, лежит.

К. Асмолов: Это и вопрос о пресловутой стратегической автономии – пусть он и остается пока абстрактным. Что касается конкретного политического поведения: в любой непонятной ситуации надо вспоминать, что японцы до сих пор не извинились – и какое-то время общество будет говорить только об этом. Третий интересный момент – это попытки представить современную политику и противостояние условных либералов и условных консерваторов как противостояние наследников борцов за независимость с потомками окаянных коллаборационистов-чхинильпха, которые узурпировали власть.

А. Соловьёв: Это очень интересная история в любом мифе, история преемственности. История того, как традиция того или иного политического действия наследуется поколениями, перерабатывается и воплощается в новое политическое действие.

И. Дьячков: Недавно мы с магистрантами читали прекрасную статью. Есть такой ультраконсервативный колумнист в «Чосон ильбо», он «правее правых». Он критикует Мун Чжэина за то, что тот что-то требует от японцев – а, значит, пресмыкается перед ними. Этот колумнист утверждает, что очень многие стали участниками демократического движения уже после демократизации. И участниками движения за независимость многие стали уже после освобождения Кореи.

А. Соловьёв: В советском общественно-политическом лексиконе такие назывались «попутчиками»... Это такой, своего рода мифологический bandwagoning.

И. Дьячков: Да, существует миф, и причастность к нему престижна. Значит, всеми силами нужно для получения политических очков здесь и сейчас стать к нему причастным.

А. Соловьёв: Тот же случай с внешнеполитическим нарративом средней державы – средней державой быть престижно.

Н. Ким: Не стоит, кстати, забывать, что участники национально-освободительного движения везде транслировали одну мысль: мы, корейцы – не слабые, не глупые. Мы нормальные, и мы можем быть на международной арене равными другим нациям. (Это такая антитеза нарративу про креветку среди китов.) Мы можем сами управлять своим государством, мы можем выстраивать равные партнерские отношения со всеми. И поэтому, когда на Московском совещании были приняты это решение об опеке, они все дружно выступили против. Все! И правые, и левые – поначалу. Они все были против того, чтобы им опять навязали уже неокOLONиальный режим.

И эта идея, что мы можем быть равными другим, в том числе и на международной арене, она же закреплена и в любой Конституции Республики Корея. И до сих пор эта идея поддерживается в националистических кругах – правых, левых, неважно. Мы хотим быть равными. Правые, правда, трактуют это в том смысле, что это равенство с другими на международной арене Корею обеспечивает союз с Соединенными Штатами. Прогрессисты же, не выступая против США и союза с США напрямую, пытаются выработать более сбалансированное отношение.

Тут есть повод, кстати, вернуться к экономике. Как можно быть равным, если страна бедная, а экономика слабая? Сначала надо догнать – ту же Японию, те же европейские страны. А потом надо думать, что мы можем предложить миру. Южане додумались, в числе

прочего, предлагать свою модель демократического транзита, перехода от авторитаризма к демократии. Если почитать историю демократического движения в Южной Корее, очень воодушевляет. Потом додумались предложить миру свой К-поп и «корейскую волну».

Они продолжают искать что-то еще, и нельзя сказать, что у них это плохо получается. То, что они смогли сделать за последние 40 лет, обеспечит им равенство с другими государствами в будущем. Именно то равенство, о котором они мечтали, начиная с XX века.

К. Асмолов: Даже чуть раньше, пожалуй. У нас есть совершенно замечательный эпический акт, когда Коджон становится императором.

А. Соловьёв: Есть какая-то нехорошая ирония в том, что Корея становится империей как раз накануне эпохи крушения империй...

К. Асмолов: Дело не в этом. Вокруг-то все императоры, а Коджон-то несчастный ван. В Китае император, в России император, в Австро-Венгрии император...

И. Дьячков: Я хотел бы зацепиться за момент, который уже проскальзывал у нас в дискуссии. Андрей Николаевич говорил о том, что на Юге существует определенный континуум, такой спектр мифов, особенно мифов, связанных с исторической памятью, имеющий внешнее приложение. Так вот, мне кажется, что этот набор интересен тем, что отдельные его части могут быть легко, вне зависимости от их степени безумия, реактуализированы при политической необходимости. И мы в принципе это видим, в более мягких вариантах, по мере того как нарастает историческое давление на ту же Японию в связи с политической необходимостью это делать.

И кто знает, если завтра понадобится поднять эти атласы с корейскими княжествами в Магадане, то не поднимутся ли они? И в Магадане, и в Калининграде придумают, если надо будет. Наличие этого спектра не означает, что он жестко поделен на «артефактную» часть и часть актуальную. Любой компонент этого спектра может быть актуализирован, и это, конечно, настораживает, с точки зрения выстраивания политики в отношении корейских государств.

А. Ланьков: Да, об этом никогда нельзя забывать. Я предполагаю, что в ближайшем будущем будет происходить реактуализация антияпонской части, оставшейся во многом под спудом 60-70 лет. И вытаскивание антикитайских стереотипов 150-летней давности. Отчасти – в силу изменения политической линии, а отчасти – в силу изменений общественных настроений. Все это действительно может всплыть. Это общий подход, а на кого конкретно развернут пушки – это другой вопрос.

Счет можно выставить кому угодно, и нам можно. Ко всем же есть счета. У любого соседа к любому соседу есть счета, чего уж тут.

И. Дьячков: То есть мы все чаще будем слышать про Иодо, про Когурё, про Пархэ, да?

А. Ланьков: И еще про безобразия Юань Шикая, который давил корейскую экономику и насильно ввозил наркотики, что, кстати, правда, – давил и ввозил. Есть и еще темы.

А. Соловьёв: А правильной официальной историей станет «Самгук юса», а «Самгук саги» будет объявлена символом низкопоклонства перед Китаем, который надо переосмыслить?

А. Ланьков: Я думаю, так далеко дело не пойдет. Но стереотипы будут использоваться те же самые. Этот разворот может и не произойти, но, мне кажется, что к все дрейфует именно к этому. Магадан пока может спать спокойно, но в дальней перспективе не поручусь.

А. Опарин: Я думаю, самое главное, чтобы не «Хвадан коги» стала главным текстом. Но, я думаю, этого все-таки не случится.

К. Асмолов: А вот я бы не зарекался, потому что, к сожалению, я вижу как раз очень неприятный тренд. Южнокорейцы, например, вполне могут – Вадим свидетель – рубить международные исследовательские проекты, потому что там несколько не то сказано про Тангуна. То есть я бы «корейских родноверов» не недооценивал.

Туда вполне могут прийти люди чуть более интеллектуальные, чем «отцы-основатели» и нынешние фантазеры, у которых викинги – это кочевники-скотоводы, вероятно, азиатского происхождения (лично слышал от Ан Гёнчжона), а название Чосон означает «избранный», Chosen.

А. Соловьёв: Вадим Сергеевич, как вам кажется, не могут ли исторически или псевдоисторически обусловленные и описанные территориальные интересы северян или южан, то есть все то, что связано с представлением о возникновении корейцев – будь то алтайская теория, будь то какая-либо другая (тот же Магадан) – всерьез сподвигнуть какие-то политические силы к тому, чтобы ставить вопрос о возврате территорий на внутри- или внешнеполитическую повестку?

В. Акуленко: Я бы хотел обратить внимание коллег, что у нас сейчас с Южной Кореей есть территориальный конфликт, о котором в России мало кто знает. Это знаменитый Ноктундо, остров, который сейчас является частью российской территории, и Северная Корея признала это уже давно. А вот в Южной Корее до сих пор есть силы, политические в том числе, которые считают, что этот остров был передан СССР неправомочно. Не имело право северокорейское руководство подписывать соглашение, связанное с демаркацией границы в этом месте.

У нас в Приморье, я помню, одно время даже ходила полу-шутка, что от корейской территориальной агрессии нас спасет Китай. И, наоборот. Многие искренне считали, что корейцы смотрят с интересом на Приморский край, и редкий корейский дедушка, прилетев во Владивосток посмотреть на местные достопримечательности, не скажет, выходя из самолета: «Как прекрасны наши бывшие когурёские – или бохайские – земли».

Насколько всерьез это воспринимается в политических кругах, мне сказать трудно, потому что я исследовал в основном мифотворчество корейских историков на Севере и на Юге. Тех, кто профессионально занимается историей (или думает, что занимается историей), а не политикой. Мне очень сложно утверждать, что это действительно влияет на политическую повестку Южной Кореи. Я бы был с этим осторожен.

Но я бы хотел обратить внимание немножко на другое. Мы как-то стали забывать почему-то про то, что у Кореи, кроме идеи равенства, есть еще и идея ответственности перед младшими странами. В 2015, кажется, году в Южной Корее была дискуссия по поводу единого учебника. Некоторые преподаватели вузов – кажется, Сеульского университета – высказывались в том смысле, что с этой идеей единого учебника мы подаем плохой пример странам, которые встали на путь демократизации. Тому же Вьетнаму.

И, конечно же, не стоит забывать несколько анекдотические, но активные цивилизаторские усилия корейцев, направленные на полинезийское племя чиа-чиа, принявшее корейский алфавит хангыль в качестве официальной письменности.

А. Соловьёв: Но этот миф, связанный с территорией, с вопросом происхождения корейской нации, он все равно остается. Он будет составлять, так или иначе, какую-то часть общекорейского мифа?

В. Акуленко: В «Чосон ильбо» можно найти комиксы, где внук спрашивает деда: «Дедушка, а что это за маленький клочок земли?» И тот объясняет: «Дорогой мой внучек, это наша территория». И дальше – «когда мы были слабыми, у нас ее отобрали, но вот сейчас мы сильные, можем поставить этот вопрос жестко». Но сказать, что это присутствует в политическом дискурсе, было бы преувеличением.

И. Дьячков: Вот небольшая виньетка по поводу возможных территориальных претензий. У меня на кафедре лежит журнал «Вопросы истории» за 1993 год, в котором какой-то корейский предприниматель пишет, что, мол, раньше мы так боялись Советского Союза, а теперь я приехал, наконец, во Владивосток, *на родину своих предков*. И все понятно сразу.

А эта идея ответственности перед младшими странами или просветительская деятельность за рубежом – тоже инструмент самоутверждения в собственных глазах; фиксация того, что есть страны «помладше» нас.

Комикс в «Чосон ильбо» – совершенно потрясающая вещь. Чтобы понять, насколько это странно, достаточно перевести на наши реалии: «А вот Польша, дедушка, что за страна такая, Польша? – Да, такая была у нас территория, мы ее потеряли. Но мы сейчас сильные, можем поставить вопрос о ее возвращении». Родина славян на Балканах, она сейчас не наша, но мы можем поставить вопрос о ее возвращении. Понятно, что это полный абсурд.

И это как раз и есть тот самый континуум опасных политически инструментальных мифов, которые могут быть реактуализированы в случае необходимости.

А. Ланьков: В Музее корейской независимости, который построен Чон Духваном, и одно время как бы воспринимался чуть ли не как главный музей страны, есть очень интересный раздел. Там стоят три совершенно стандартных стенда. Один посвящен островам Токто. Второй – острову Ноктундо. А третий – острову Кандо. Никаких прямых заявлений о том, что нашу территорию надо вернуть, нет. Но в одном случае обозначены претензии к Японии – условные, потому что территория находится под корейским управлением. В другом случае – мизерные, но все равно присутствующие претензии к России. В третьем – вполне серьезные претензии к Китаю. Все очень сбалансировано, по стендику на каждую проблему.

И. Дьячков: Как я понимаю, в современном южнокорейском дискурсе ценность Токто заключается прежде всего в том, что этот остров воспринимается как первая жертва японской агрессии. В 1905 году японцы хапнули Токто, а потом и всю остальную Корею. И это одновременно и символ колониальной трагедии, и указание на возможность реванша на своей территории своими силами.

К. Асмолов: Боюсь, не совсем. У меня ощущение, что приступ озабоченности принадлежностью Токто случился, когда поменялись правила экономических зон. И, собственно говоря, разговор о камне, который торчит из вод под твоим флагом, это разговор не столько о символах, сколько о том, кто и где теперь будет ловить рыбу.

Это, конечно, никак не отменяет «символических войн». Я никогда не забуду фотографию с корейцем, который у японского посольства соблезновал жертвам землетрясения. На плакате было крупно написано: «Фукусима». А ниже, мелким почерком: «Токто все равно наша земля».

А. Соловьёв: Если уж речь зашла о провокациях, то задам провокационный вопрос: какой-то из существующих политических мифов может способствовать объединению Кореи или для этого придется рушить старые и придумывать новый?

К. Асмолов: Если вдруг неким чудесным образом страна как-то станет единой, то обеспечить вымывание внутренних проблем может только национализм, и национализм в достаточно радикальной версии. Юг и Север могут сойтись на тангунофилии – хорошо если в северокорейском изводе. Ибо в некоторых случаях, учитывая претензии на равенство, «Хвандан коги» с разговорами о том, что от корейцев произошли все, включая шумеров, – гораздо более «годная» штука для преодоления травм и внутренних проблем.

А. Ланьков: Полностью согласен. Правда, я вижу один не очень вероятный, но вполне реальный сценарий объединения – революционный. То есть падение режима на Севере (при невмешательстве Китая – сейчас, похоже, если такое произойдет, Китай просто наведет порядок силой). Лет пять назад, когда такой вариант был вероятнее, чем сейчас, сведущие (и обладающие некоторым политическим влиянием и предвидением) люди прямо говорили о желательности, даже необходимости использования национализма, как своего рода громоотвода, болеутоляющего, ингибитора.

Да и вообще – сама постановка вопроса о возможности объединения помимо описанного сценария коллапса на Севере не имеет смысла. Иного сценария объединения просто не существует. Ну, разве что северяне создают реальное вундерваффе и завоюют Юг. Это еще более маловероятно, но всякое бывает. Никаких переговоров по такому поводу никогда не было, а уж в Корее вообще по ряду причин такое исключено.

А. Соловьёв: А само объединение не может стать толчком к появлению нового мифа?

В. Акуленко: Поскольку на Юге полное разнообразие различных точек зрения по поводу происхождения корейцев, человека и всего прочего, то мы при желании легко найдем возможные точки соприкосновения. Взять хотя бы – это мой любимый пример – любой северокорейский учебник, который рассказывает про величие Древнего Чосона, называя его одной из пяти древнейших цивилизаций, колыбелью человечества.

Профессор Син Ёнха (신용하) в 2018 году вообще заявил, что это третья по древности цивилизация. Иными словами, при желании, конечно, можно найти отражение мифа, подобного северокорейскому, в южнокорейском. Можно найти его даже в историческом дискурсе, потому что там есть много прекрасных, творческих людей.

Но в реальности после объединения либо северокорейцам, либо южнокорейцам придется полностью переучивать историю. И найти какое-то общее основание в виде ультранационализма. Наверное, это сработало бы, учитывая, что северных корейцев придется ломать гораздо сильнее, чем южных, в этом смысле.

Н. Ким: В южнокорейской истории была попытка создать идеологическую концепцию, которая могла бы объединить всех – *ильминчжуи* при Ли Сынмане. И концепция эта оказалась, в общем, мертворожденной. После Корейской войны она почти ушла из СМИ, несмотря на то что для ее пропаганды созданы были целые институты.

Но я хотела бы отметить, что в условиях демократического общества все-таки надо исходить из здравого смысла. Откровенный бред – что-то уровня «Хвандан коги» – не может оказаться в основе национальной политики. Конечно, всегда будет оппозиция, какие-то альтернативные концепции, поскольку речь идет о демократическом обществе. А вот в условиях тоталитарного общества, возможно все, что угодно.

И. Дьячков: Мне кажется, отсюда вывод может быть любым. Тут нет большой проблемы, поскольку миф-то не насаждается сверху. Миф-то по природе своей интерес субъектен. То есть он придумывается людьми и верится людьми. И люди могут верить в абсолютно любой бред. У нас люди верят, что земля плоская, и ничего страшного...

А. Опарин: Я бы хотел обратить внимание на то, что западные глобальные тренды с некоторым запозданием докатываются до Кореи. Так что, в принципе, логично предположить, что через некоторое время в Корее может сформироваться серьезный запрос на популизм трампилистского типа. А при подобной популистской повестке место для псевдоистории находится легко.

А. Соловьёв: С этим сложно поспорить, и это действительно очень связанные вещи. Мы забыли упомянуть еще одну, как мне кажется, очень важную вещь о политическом мифе, что роднит его и с популизмом, и с конспирологией – миф прост. Он должен быть простым. Он должен просто объяснять сложные вещи через символический ряд, или через простую, примитивную даже рационализацию.

А. Опарин: Я бы еще заметил, что современные мифы, в том числе исторические, подчеркнута научны, точнее, наукообразны. И это тоже роднит их с теориями заговоров, которые тоже подчеркнута научны – то есть наукообразны. И в этом, возможно, корень их живучести. Религиозность по всему миру падает. Люди готовы меньше верить в какого-то абстрактного бога. Но они находят новые вещи, в которые готовы верить. И в качестве этой «новой религии» вполне может выступить и история.

А. Соловьёв: Я бы все же уточнил, что замена «старых» религий «новыми» не говорит о падении религиозности. Напротив, сейчас все чаще говорят, что мы живем в постсекулярном мире, когда у нас трансформируется восприятие веры и религии. В таком постсекулярном мире история действительно вполне может занять место религии.

К. Асмолов: У меня возник еще один тезис. Самым мифическим мифом является сама концепция объединения. Сама идея о том, что Корея будет единой – когда рухнет режим, как полагают консерваторы, или в результате любовного слияния, как мечтают прогрессисты.

А. Соловьёв: Получается, что сама концепция объединения Кореи – это реально действующий актуальный политический миф.

К. Асмолов: Как наступление коммунизма, которое нельзя отрицать. Любой южнокорейский политик, который скажет, что объединение невозможно, может спокойно паковать вещи. Это политическая смерть. Поэтому те, кто считает, что объединение невозможно, вместо этого говорят, что оно, возможно, настанет лет через 40. Или 50. Или еще чуть позже. Но настанет, конечно, обязательно.

А. Соловьёв: На этой оптимистической ноте мы и завершим наше обсуждение. От лица журнала «Россия в глобальной политике» я хотел бы выразить глубочайшую благодарность всем уважаемым коллегам, которые приняли в нем участие.